
Российская академия наук
Уральское отделение

НАУКА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК

Вестник Уральского отделения РАН

№ 2(20)

Екатеринбург, 2007

Н.В. Тимофеев-Ресовский

Воспоминания*

V. Приключения военные и гражданские

Когда началась революция, я попал сперва на германский фронт, потом на гражданскую войну – в 12-ю Красную армию, на Деникинский фронт. И тогда же поступил в университет.

Началась у меня мешанина: я то воевал, то попадал в Москву и сразу в Зоологическом музее садился за моих формалиновых и спиртовых рыбок.

А денежку зарабатывал преимущественно в качестве грузчика. Я на подъемную силу был здоров, а грузчиком было работать очень выгодно: карточки первой категории и дополнительные карточки плюс всяческий блат.

До того я одно лето проработал пастухом. Это было еще более выгодно. И приятнейшая должность.

Из всех профессий, которые я за жизнь свою перепробовал – эта, пожалуй, самая приятная... В одном из первых совхозов Тверской губернии я пас совхозное стадо – около полуста коровок (бык был мощный, но какой-то дурашливый, всегда плелся позади коровок).



Стадо это я получил от своего предшественника – пастуха из пленных сербов, из австрийской армии, Пурчила, который был замечательный пастух (он и дома у себя, в Сербии, пастушествовал).

*Начало в № 3 (17).

Он приучил коровок к нескольким сербским песенкам, которые насвистывал или напевал, – я у него перенял эти песенки и корову Варьку (крупная была пегая корова, умная такая, солидная). И вот мы, так же как до меня Пурчил с ней, в обнимку так впереди стада шествовали, а стадо – за нами. И еще была у меня хорошая, тоже за три года плена сербом выдрессированная собака пастушеская системы «надворный советник» – беспородная.

Очень хорошо время это я провел.

А еще до того, на фронте немецком недолго пробыв, стал я вахмистром. Это по-теперешнему значит старшина в кавалерии, так как я в казацкой части служил.

А в 17-м году кавалерия-то на фронтах была вся спешена, и в окопы нас загнали; мне шли кавалерийские унтер-офицерские чины, а служил-то я в пешем строю. Это привело к ряду анекдотов, которые со мной происходили уже в Красной армии: по бумагам-то я вахмистр, а конного строя как следует не знаю.

А еще я всегда хвастал, что в вахмистры был произведен примерно одновременно с неким товарищем Буденным. Он тоже был вахмистр царского времени, хотя потом кое-какую карьерку сделал и в маршалы вышел, а я так вахмистром и остался. Правда, был помощником взводного командира уже в 12-й Красной армии, но высоких чинов, увя, не испробовал.

В Москве же, когда я попадал в Москву, по протекции, оказанной Бонч-Бруевичем... Был такой приятель Ленина и первый управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. По специальности гуманитарий какой-то, филолог или литературовед, он всю жизнь занимался всякими раскольниками, староверами, сектантами (у него была колоссальная картотека поповцев, и беспоповцев, и хлыстов, и бегунов, и черт-те кого). Большевик старый, но богатый, барственный такой, из помещиков, по-моему, бессарабских родом. Ко мне имел весьма касательное отношение... Дело в том, что одна из моих теток в Петербурге в 1905 году его от городских где-то под диваном прятала, – и он это запомнил и к нашему семейству относился хорошо. Когда нам стало уж совсем худо и жрать было нечего, Бонч нас старался немножко опекать. И он устроил меня грузчиком в Центропечать.

Это было тогда выгодное очень занятие... Конечно, не такое выгодное, как пастушество: когда я был пастухом, я за лето заработал, наверное, раз в десять больше ординарного профессора Московского университета, а грузчиком зарабатывал пятикратное профессорское жалованье, то есть в два раза меньше, чем пастухом... Только главное: окромя карточек первой категории – дополнительные карточки для тяжелой работы. Да еще мы кое-что левачили.

Артельным у нас был такой Иван Иванович, пожилой рабочий... Мы получали какое-то жалование, которым никто не интересовался: тогда «лимоны» были (миллионы), и на них купить все равно ничего нельзя было. Но вот карточки были хорошие (Бонч нам устроил): каждый грузчик получал по три столовых карточки в третью столовку Совнаркома в отеле «Метрополь» (ресторан этот знаменитый – «Метрополь»! – был уже превращен в советскую столовку).

Кормили там чем было положено: жиденькой пшой (жиденькая на водичке пшенная каша, – Чехов был в те годы переиначен: ржа ест железо, тля – траву, а пшша – душу) и «карьими глазками».

А «карьими глазками» у солдат называлось вот что: в-воде разваривались воблиные головы... Сушеные воблы – это теперь такой редкий продукт, за которым почему-то моментально «хвосты» выстраиваются, хотя раньше это была пища нищих, самая дешевая. Когда жрать человеку было нечего, он пару вобл сжирал с краюшкой хлеба: их о камень побьешь, побьешь – есть можно... Лишь головы варили. И туда чуть-чуть бросали какой-нибудь травки, капустных листьев иногда, затем немножко пши... Черепушки топли на дно, зато глаза всплывали на поверхность. Поэтому-то и назывался этот супец: «Ах вы, карьи глазки!»

Мы имели по три талона. Получишь три супа таких, осторожненько воду сольешь – и получается миска вот этих концентратов карьих глазок. И туда же – «а пшша – душу», второе так называемое.

Полагалась и осьмушка хлеба или жмыхов – черная такая клякса. По три осьмушки – это уже четверка с половиной фунта (не кило, а фунта). А по первой категории четверть да по дополнительным карточкам четверть, – в общем, получали мы этой черной

массы три четверти фунта или триста граммов.

Питаться можно было.

И работа была очень приятная.

В наших поездках по Амуру, по Лене, по Енисею теплоходы эти туристические и брали грузы, и разгружались. И я особенно помню, как это происходило в Николаевске-на-Амуре. Красота была! Настоящая профессиональная работа! Инженером да профессором каждый дурак может стать, а вот грузчиком... Это почти как Святослав Рихтер среди пианистов... Отрабатывается прецизионная техника и хватки всякой, и ножной, ручной, спинной работы. И когда артель настоящих грузчиков работает, – это красота... Я тогда получил некоторое количество долларов незадолго до этого, какой-то гонорарий. И были... как их?.. сертификаты. И в «Березке» я накупил английских сигарет. И весь взятый в дорогу запас этих английских сигарет этой артели грузчиков подарил. Родовались ребята, ужас!..

Так вот, Иван Иванович, наш артельный, организовал вот что... Тогда редко поезда ходили. Но в Москву со всей России из провинции приезжали всякие уездные и волостные комиссары – такие дяденьки в кожаных тужурках, на поясе обязательно «пушка» висит – за литературой и бумагой, что мы и должны были погрузить.

У нас была упаковочная в Центропечати, а там рогожные тюки большие: мы ведь получали дополнительные карточки и считались на самой тяжелой работе, потому что тюки эти были пяти- и семипудовые. Конечно, по ступенечкам взносить даже на лесенку небольшую семь пудиков на спинозе скучновато, однако мы таскали с восьми до четырех – восьмичасовой рабочий день. (А после четырех я смывался в университет, а вечером кружок у нас был, так что время было занято все.)

Итак, Иван Иванович узнавал, когда приезжает за бумагой и книжками комиссар на машине (а тогда в Москве буквально по пальцам можно было пересчитать грузовики, которые работали на «автокonyaке» – смеси спирта с газOLIном).

Грузовики эти обыкновенно давались, чтоб привезти прямо на уходящий состав тюки... А ежели комиссар не успеет – он мог застрять в Москве и к концу первого месяца помереть с голоду.

(Мы тогда потешались, всех расспрашивая про Дюринга... «Анти-Дюринг» – брошюрка такая – в массовом количестве появилась, и все говорили: «Анти-Дюринг есть, а почему Дюринга нету? Давайте нам Дюринга!» Нам пробовали тогдашние марксисты объяснять с ученой терминологией, почему Дюринга можно и не печатать, а только Анти-Дюринга.)

Обыкновенно комиссар этот самый должен был еще засветло погрузиться на поезд, и тогда его дело было закончено, и он возвращался в какую-нибудь хлебную провинцию и процветал далее. А не уедет – карачун!

Моей профессией была демагогия, то есть я был демагогом артельным... Мы спусти рукава, так в час по чайной ложке, грузили машину этого комиссара... Какой-нибудь такой противный фрукт в такой кожаной тужурке, широким кожаным поясом подпоясанный, на поясе, разумеется, пушка в кожаном же футляре, и картуз обыкновенно кожаный, иногда даже галифе кожаные, и сапоги кожаные, – в общем, сплошная кожа... И ровно в четыре часа я вступал в действие: «Товарищи, бросай работу, довольно, попили нашей кровушки!.. Конец рабочего дня! Завтра в восемь утра продолжим».

Конечно, комиссар сперва хватался за пушку, даже вытаскивал ее. Но я ему спокойно так говорил: «Ты, голубок, пушку-то спрячь: ты не у себя дома, а в Москве. Мы тут и пушку у тебя отберем, и морду тебе набьем».

Убирать приходилось пушку. И морду мы не били, конечно. А Иван Иванович кумекал ему с заднего ходу-то: ежели посмотреть с точки зрения-то... то оно и можно было бы...

Дело кончалось тем, что мы отбирали у комиссара прежде всего пояс кожаный широкий – ценнейшую вещь на подошвы к башмакам... Ишь, люди тут голодуют, жрать нечего, а он в широком кожаном поясе будет разгуливать?!

Иногда Иван Иванович его до того намазаливал, что комиссар и кожаную тужурку свою отдавал. Мы ее потом пропивали артельно.

Ежели у него был какой-нибудь хлебушек – весь отбирали, наличность – отбирали.

Комиссар предлагал нам и пушку свою, но ее мы не брали: это нам без надобности, это вы там бандитствуете где-то, а мы живем в столице нашей родины Москве и нам левольверты не нужны. У нас одна опасность – «попрыгунчики»... (Тогда в Москве «попрыгунчики» были в белых простынях – вроде духов, а в духов из пушки стрелять не будешь, хотя грабители.)

Был у нас Ванька такой, малец лет 16–17, здоровый парень, глупый, грязный, какой-то задрипанный, но – специалист своего дела: он знал, где у всех московских грузовиков дырочка, через которую можно выпустить автоконьяк.

А у нас была артельная такая баночка вроде бидончика металлического. И пока мы торговались, Ванька выпускал автоконьяк, оставляя только на дорогу до вокзала.

Наконец, мигнет нам – и мы быстренько, в четверть часа, набросаем тюки эти семипудовые. И катись, комиссар!

А мы шли в полуподвальный извозщичий трактир на Сретенке... Этот трактир оставался в каком-то таком полувиде: то ли частный, то ли государственный. Он, конечно, государственный уже был, советский трактир, но, с другой стороны, хозяин бывший за стойкой стоял и заправлял делом, половые там были.

Мы приходили с автоконьяком, себе оставляли по чарочке (гадость ужасная!), а остальное шло трактирщику. И за это получали мы настоящие суточные щи с убойной и по краюхе не совсем жмыхового хлеба (тоже черный и непеченный, но все же похожий на хлеб). Иногда даже какой-нибудь пши туда же вываливали. И наедались как следует... Вот так мы жили.

Я-то все время прерывался, потому что попадал на фронт.

Я мог бы и избегать этих фронтов, но у меня всю жизнь было чувство неловкости попадать в какие-то исключительные условия. Ежели все воюют – надо воевать; ежели все голодают – нужно голодать.

Конечно, все голодающие стараются что-то отхватить и наесться, и я старался отхватить и наесться. Но попадать в какие-то исключительные условия мне было неприятно...

А воевали мы тогда разутые и раздетые, голодные и холодные. Ужас! Но – ничего.

Сперва денкинецы нас до самой Тулы гнали, а потом мы их аж до самого Черного моря взад отогнали.

Месяца полтора мы против Дикой дивизии воевали.

Они у мужиков бессловесный скот брали, а нам птица оставалась только. Кур, уток, гусей – это уж мы приканчивали.

Так что после обоюдной гражданской войны мужички-то находились того... при пиковом интересе.

В общем, жизнь была веселой... Мало-мало голодали, мало-мало холодали, но люди мы были молодые, здоровые, крепкие.

Жили мы, сколь ни странно, довольно-таки вне политики.

Я принадлежал к тем людям, которые сознательно не попали, скажем, к белым. И не по политическим причинам.

Я отнюдь не был ни коммунистом, ни сицилистом, ни каким другим стрекулистом, а просто считал: нужно быть в пределах границ своего Отечества и сражаться с теми, кто извне в границы моего Отечества приходит.

Я был достаточно грамотным человеком, чтоб видеть, что белое движение несерьезно, что дюжина самых разнородных течений одобрена буржуазной спекуляцией.

Мне пришлось побывать в Киеве времен гетманщины (когда я возвращался с Юго-Западного фронта). Меня забрали, мобилизовали в синие жупаны. Но я оттудова «втик на коню» и со всей обмундировочкой казацкой.

Там меня бандиты – «анархысты, учэныки самого пана князя Кропоткина» – «пымали» на Десне. И я бы, наверное, пропал, но угодил в банду пана Гавриленко такого, который говорил: «Я же учэнык самого пана князя Кропоткина». Тогда я не выдержал и сказал: «А ты его видел когда-нибудь?» – «Та ни, но я же учэнык его». Я говорю: «А я внучатый племянник ему». (Что действительно истине соответствует.) И тогда он невероятным уважением ко мне возгорелся.

Но эта работа была трудная. Нас было четырнадцать да я. Мы должны были фуражировать и гнать немцев.

Я почему остался?

Мы занимались полезным делом: гнали немцев с Украины, которые уже тогда ужасно гнусно себя вели.

И я встретил там, в банде среди этих четырнадцати кавалеристов, своего товарища еще по гимназии Чекунова, казак тоже был.

Очень тяжелая работа. Мы сутками не вылезали из седла: нам надо было нападать только на немецкие подразделения с обозами. Главное было – это обоз отбить. Черт с ними, с немцами без обоза, нам их нечего было и бить – сами себя добьют, а вот обоз!..

Мы разработали хорошую тактику: рассыпались уже в темноте, нашпандоривали коней, оралы «ура» и стреляли. И немцы никак не могли разобрать, сколько нас.

А нам хохлы доносили, где немцы на ночевку устроились и где обоз расположен. И сразу мы его окружали и отбивали... Все были легко ранены: довольно часто пульки попадали.

Раз мы влипли совсем капитально... Хутор большой, где немецкий батальон с обозом расположился. Десна с берегами уже ледяными, тут – шлях, а тут – опушка леса, из дикой груши колючки, и никак через них не пробраться.

И мы, значит, напали. Однако нам хохлы не донесли по глупости, что у немцев есть пулеметная рота. Это тогда нововведение было. А под пулеметами – неприятно.

Серые мужички, они больше артиллерии боятся: хлопает, взрывы, бахает и все такое. А наш брат, полуантеллихент, так сказать, опасается больше пулеметов. Вот лежишь на земле под пулеметами и представляешь: чешет пулемет, и достаточно ему, сукину сыну, немножко нос опустить – прямо по спинозе пропадет. От воображения – страх.

А еще тут нам в тыл – эскадрон целый немецких улан, тоже конные. Значит, наше конное преимущество отпало. И тогда мы с Чекуновым применили на практике теорию вероятности и математическую статистику.

Ибо нам карачун: впереди – пулеметы, сзади – сотня сабель. Всех нас перебьют, и дело на этом кончится, и удивятся дураки немцы, что нас так мало было. А мы у них убили-то уже больше.

Мы решили: единственная возможность – в темноте разогнать лошадей в карьер и через эскадрон... Шашки наголо, «ура!» и кто-то, может, пробьется.

И получилось даже не fifty-fifty: полегли семь человек, а пробились восемь. Причем сначала думали, что наоборот: лег я тоже.

Но мне на войне всегда везло.

Когда я врезался в этих улан, кто-то из них попал мне здорово по башке шашкой плашмя: я с коня своего скovyрнулся и без сознания лежал. Наверное, меня сочли за убитого, и никто мной не интересовался (как раз на опушке этих колючек это было).

Я под утро очухался и попробовал встать. Цел! Только страшно башка болит: огромные две шишки.

А конь мой – конь казацкий был – стоит себе, обглаживает какие-то кустики, ждет. И я кое-как влез на него и к утру нашел свою банду.

Чекунов – на нем, по-моему, оказалось около двадцати легких ран (и пулевых, и сабельных) – как котлетка! Однако через две недели и он выздоровел.

Пан Гавриленко нас от ранений лечил коньяком шустовским: где-то он царапнул энное количество. Для антисептики рану трактовали коньяком и выстиранными портянками, но и вовнутрь, конечно, выдавали чарку.

Вот вскоре после этого случая я своему атаману сказал: «Я тебе отработал, пойду себе до дому – аж к самому пану Кропоткину».

Гавриленко меня очень благодарил, навязывал мне всякие драгоценности. Например, как полагалось, какой-нибудь золотой портсигар с надписью «Дорогому и уважаемому Савве Ивановичу Морозову¹ от благодарных рабочих» и что-то в этом роде.

Я ему говорю: «Не надо мне. Ты мне лучше шпику, сала дай».

Он мне дал целый мешок, и у меня было два торбаса со всякой едой.

Тогда была граница меж вэликой вильной Украиной от Карпат аж до самого Кавказу и РеСеФеСеРой.

Я на границе все это выменял на одежду: и коня, и карабинчик, и даже часть сала.

Получил еще свеженького хлеба крестьянского и пешочком (а где и с попутными подводами) добрался, уж не помню, докуда... до Тулы, что ли?.. откуда в товарном вагоне достойно прибыл в Москву.

VI. От «Сикамбра» до Дрозсоора

Еще в гимназии началось у меня и у моих ближайших друзей (как гимназических, так и не гимназических) увлечение всякой всячиной – науками, искусствами, философией, литературой, чем угодно. Мне было тогда 16 лет.

Мы сперва организовали с помощью Александра Сергеевича Баркова, директора и географа нашего, географический кружок, но очень широкого профиля: под географией тогда понималось все, что касалось, по современной терминологии, среды обитания человека.

Скоро это переросло в «Сикамбр»² – в кружок, в котором мы занимались всем: масштаб был от естественно-исторических проблем до религиозной философии (Бердяев, Булгаков, Соловьев и прочие Григории Сквороды, а также действительно интересные философы-славянофилы братья Киреевские, Самарин, Хомяков, Шелгунов и до Данилевского).

Мне кажется, что в нашем развитии интеллектуальном эти кружки, особенно «Сикамбр», сыграли большую роль.

Безусловно, человек интеллектуально формируется на основе своих прирожденных качеств, способностей, вкусов и так далее. Но все это прирожденное должно чем-то питаться.

Я считаю, что наши кружки плюс ряд очень интересных и хороших гимназических учителей создали прекрасную обстановку.

В «Сикамбре» мы, например, первыми, раньше Художественного театра, ставили «Грабейж» Лескова (я там одного из дьяконов играл), затем его же «Запечатленного ангела».

С помощью одного из старших наших товарищей – Витвера Ивана Александровича, между прочим – географа и музыканта, мы начали писать даже оперу под названием «Мельхиседек» на апокалипсическую тему (опера, правда, осталась незавершенной).

И после того, как я вернулся с фронтов и осел в Москве, мы продолжали кружком заниматься.

Небольшой группой – уже в университетское время – мы слушали логику Шпета³, математическую логику и алгебру понятий Лузина⁴ (их мы привлекли в наш кружок).

Я помню, Шпет нас заставил феноменологической логикой заняться. Это, представляете себе, три тома Гуссерля по-немецки! Прогрызть такой гранит науки для того, чтоб убедиться, что нам все это без надобности!..

Мы были в то время уже философски в достаточной мере подкованы.

Те из нас, кто всерьез этим интересовался, верхним чутьем уже прекрасно чуяли: гносеология в ближайшее время заменится общими положениями теоретической физики и новой физической картиной мира, а также комбинацией из математической логики и алгебры понятий.

А прочая философия и вообще университетская философия – это чисто паразитарные дисциплины. Кормятся какие-то профессоры на действительно крупных покойных людях и их извращают, классифицируют по глупым классификационным системам, находят идеализму, материализму и еще всякую изму. Все это собачья чушь!

Философы и философия – это редкие явления в мире человеческом, когда появляются крупные люди, которым есть что сказать о своем видении мира и человеческой природы.

Философами по сути являются святые – люди, которые знают, как надо жить, и которые показывают, как можно жить, чтобы не по-собачьи умереть.

А все прочее – это паразитирование на нас, ученых, с одной стороны, и с другой стороны – друг на друге: всякие там идеалисты, механисты, материалисты и прочие стрекулисты, что совершенно неинтересно.

Вот моя группа в этом лично убедилась.

Мы честно прочли всего основного Канта, затем немцев начала XIX века, включая этого самого паразита Гегеля, который совершенно все закрутил. И кто кого на попа поставил – он Маркса или Маркс его, – черт их там разберет! Оба на попа поставлены. Ерундология совершенная!

Конечно, из немецких философов все-таки самый крупный – Кант. У него очень много интересного. Но и многословия очень много. И англичанин Юм написал почти все, что сделал Кант, уже коротко и по-настоящему

умно, то есть не написал того, чего не нужно было писать...

А потом кончился наш «Сикамбр»... И образовался новый кружок – уже наш научный кружок кольцовцев вокруг очень симпатичного человека и умницы большого Сергея Сергеевича Четверикова.

Членами этого кружка были Сергей Сергеевич Четвериков со своей супругой Анной Ивановной, затем Димитрусь Ромашов⁵ (примерно моего возраста, тоже зоолог, энтомолог в основном), Лиля Балкашина⁶, такой Александр Николаевич Промптов (любитель птиц), Николай Константинович Беляев⁷, Борис Васин...

Одно время к нам примыкал Митя Обручев⁸ (один из сыновей того древнего академика Обручева, который 94 года прожил и переплюнул академика Зелинского, прожившего только 93), мой сотоварищ еще по гимназии, крайне ученый и крайне скучный, такой аккуратный, примерный. Он интересовался преимущественно пауками, а потом рыбами, и не то чтоб какой-нибудь бойкой живой сеledкой, а ископаемыми рыбами. Всю жизнь Митя просидел в Институте палеонтологии меж шкафами с этими ископаемыми рыбами, то есть не рыбами, а кусочками ископаемых рыб. И кое-что, говорят, в этих рыбах он понимал. Но что вообще происходит на свете и для чего люди живут, этого Митя никогда не понимал, как, впрочем, и многие другие...

Потом присоединились помаленьку в начале 20-х и другие.

Появился молодым студентиком Борис Львович Астауров⁹ (он у нас с Лелькой¹⁰ даже года полтора питался, в Москве живучи; отец его жил вне Москвы и был, по-моему, земским врачом).

Затем – Сергей Михайлович Гершензон¹¹, сын Михаила Осиповича Гершензона.

Отца я тоже знал: он был замечательный человек¹². Жил Михаил Осипович тогда в небольшом доме № 13 в Никольском же переулке. (Там и наши друзья Залогини¹³ жили.)

От голодухи удравши, Вячеслав Иванов одно время жил у Гершензона. Большущая у них была комната. И они в разных углах пребывали. И издали потом книжку «Переписка из двух углов»¹⁴, очень умную, между прочим.

А Сергей Михайлович Гершензон... он как-то не ладил с родителями, молодой был...

Появился и такой Георгий Георгиевич Винберг¹⁵, совершенно русский человек из шведов...

Так вот организовался четвериковский наш кружок.

Не забывают, что как научные работники мы были изолированы от мира примерно шесть-семь лет и были принуждены довольствоваться собственными мозгами.

И это было хорошо, даже очень плодотворно. Ибо заставляло думать, находить свои пути и отчасти свои методы, делать науку на соплях и пяти пальцах, что иногда весьма и весьма полезная вещь.

Я и до сих пор считаю, что импортные, стоящие сотни тысяч рублей в валюте приборы и аппараты нужны только для разработки мелких деталей, а принципиальное и большое в науке делается все-таки на соплях и пяти пальцах с помощью размышления.

А Сергей Сергеевич Четвериков придерживался и такой вспомогательной аксиомы: из всей цивилизации для наук полезнее всего служат цивилизованные, простите, ватерклозеты, где можно спокойно, тихо и долго посидеть и всерьез подумать о науках.

Очень ценили возрождение в Москве ватерклозетов... В революцию всякие такие цивилизации более или менее развалились... Наш дом был в этом отношении счастливый: быстро восстановились центральное отопление и газ. Но несколько лет не было ни газа, ни отопления центрального. Буржуйки все закоптили (потом уж отмывали, белили).

Сожгли все, что можно... У меня был десяти томный Брем, а в нем цветные таблицы были все прикрыты папиросной бумагой. Так из десяти томов всю папиросную бумагу выкурили на махре. (От тех времен книги такие хорошие до сих пор попадают у букинистов: все в порядке – только папиросная бумага отсутствует)...

Мы чувствовали, что надо и в биологии создавать какое-то новое умонастроение, что в дарвинизме как единственной эволюционной теории – другой и до сих пор в сущности нету – нужно освежить то, что эта теория делает с биологическим материалом. Ведь всякая теория хороша постольку, поскольку она пережевывает и как-то презентует в научном виде именно материал.

По мере сил своих старались мы друг другу делать доклады на основе всего, что могли ин-

тересного прочесть. И, конечно, хорошо, что этого было мало (того, что приходило из-за границы), отчего мы не были завалены текущей каждодневной скучной и в сущности никому не нужной научной литературой, а имели возможность использовать действительно стоящие крупные вещи в небольшом числе.

Несколько раз, будучи в Москве, Лев Семенович Берг¹⁶ нам рассказывал (он тогда выпустил свой «Номогенез»). Мы его всю критикували, но это было очень интересно.

Затем были две ученые дамы, которых мы привлекали нам сделать доклады.

Лидия Петровна Бреславец¹⁷ тогда была и очень ученой (ботаник, цитолог!), и красавицей, самой настоящей красавицей... Уже со старушкой, я с ней говорил, и страшно она была рада, когда я ей сказал, что мы в МОИП (Московское общество испытателей природы) ходили смотреть ее доклады. Не слушать, а смотреть!

И такая же была (ее мы ходили смотреть в тот же МОИП) геолог Варсонофьева, которая тоже была и очень интересной ученой дамочкой, и красавицей.

Мы пробовали всячески решать вопрос: кто же из них красивей – Бреславец или Варсонофьева?

В общем, согласились на том, что обе хороши (жаль только, что в науки ударились)...

Кружок четвериковский спаял нашу небольшую группу, которая потом, в середине 20-х, доросла так человек до пятнадцати молодежи.

Собирались мы не в институте, а у Четверикова на квартире или у меня на квартире (у меня была большая комната).

Образовался такой естественный дружеский кружок, неофициальный совершенно... Конечно, уже в 30-е годы сразу посел бы весь этот кружок, и получили бы по червонцу каждый. (Я на Лубянке сидел в 45-м с двумя молодыми студентами-математиками Московского университета, которые – со скуки, для интересу – затеяли математический кружок. И получили все по червонцу...)

А в 22-м, летом, произошло следующее: впервые крупный иностранный, очень так



Аниковская генетическая станция, проезд Мёллера. В центре Г. Мёллер, справа А.С. Серебровский, слева П.И. Живаго и Д.Д. Ромашов, 1922 год.

радикально, лево настроенный ученый, знаменитый уже тогда генетик Герман Мёллер¹⁸ прилетел к нам из Америки.

Мёллер – это один из первых старейших учеников Моргана, из так называемых четырех разбойников: Морган¹⁹, Стертевант²⁰, Мёллер и Бриджес²¹.

Мёллер привез из Америки целую большую коллекцию диких культур различных мутаций и комбинаций различных мутаций. (К тому времени уже пара сотен мутаций была открыта и изучена у великолепного, в сущности уникального, замечательного генетического объекта – плодовой мушки *Drosophila melanogaster*.)

Мёллер прочел ряд докладов, посетил наши биологические станции институтские, лично показал нам технику лабораторной работы с дрозофилой.

Все это было занимательно и увлекательно... Однако надо сказать, что еще до приезда Мёллера мне и Дмитрию Дмитриевичу Ромашову пришлось немножко поработать, – правда, не с *Drosophila melanogaster*, а с несколькими другими видами, пойманными нами в Подмоскowie. Мы сами по литературным данным наладили варку корма дрозофильного, поняли технику разведения и усыпления эфиром мух этих для изучения под микроскопом. Так что для нас двоих все было не очень ново, но тем более полезно.

Зная элементы, мы от Мёллера овладели всей техникой разведения дрозофилы как подопытного объекта.

Мёллер тогда вообще пожил и потрепался у нас. И были по этому случаю большие винопития. Даже где-то Кольцов и в особенности Серебровский²² словчили – достали целый ящик шампанского системы Абрау-Дюрсо. Великолепное шампанское! И конечно – спирт!..

Мёллер действительно очень талантливый и очень интересный человек: мы с ним потом стали большими друзьями.

Он по приглашению Вавилова²³ три года – 34-й, 35-й, 36-й – провел здесь: сперва в Ленинграде, потом в Москве – в Институте генетики Академии наук у Николая Ивановича Вавилова. По-русски выучился говорить неплохо и превратился из Германа Мёллера в Германа Германовича (папаша его тоже Герман был).

Ему уже в 34-м было ясно, куда все катится. Он до конца 36-го года дотерпел и вовремя смылся. Пожалуй, в 37-м ему, несмотря на американское гражданство, было бы небезопасно; во всяком случае, многих бы посадили из-за него. Мёллер все это сообразил...

Он читал доклады нам по-немецки: выяснил, что только некоторые знают английский язык... (И сейчас у нас молодежь не знает английского, а о прочих конгрессных языках толком и не слыхивала... Тогда еще оставалось поколение, учившееся в гимназии: гимназисты-то по-французски и по-немецки бегло шпарили, а те, у кого не было практики, не могли говорить, но совершенно свободно и читали, и писали, и, конечно, все понимали. А английский язык был у нас необязателен, и далеко не все его учили...) Мёллер немецким владел и был уверен, что свободно говорит, однако *Menchen und Weibchen* у него звучали как *Monschen and Wobschen*. И никак наши сперва не могли понять, что это за *Monschen and Wobschen* у дрозофилы. А это были самцы и самки мужиные...

Так вот, в 22-м произошла чрезвычайно существенная вещь: мы вступили в личный контакт с самой тогда передовой генетикой – с моргановской группой.

Первой нашей задачей в связи с внедрением самой модернистской по тому времени экспериментальной дрозофильной генети-

кой в нашу среду была необходимость серьезного ознакомления с совершенно до того нам незнакомой литературой.

В 21-м году Кольцов получил от своих друзей из Германии книжку Моргана «Структурные основы наследственности», и это стало началом внедрения современной генетики в биологическое мышление русских зоологов, ботаников, микробиологов и так далее.

А с 22-го, даже с 23-го года начали приходить журналы научные, особенно, конечно, генетические, которые до тех пор почти никому из нас не были известны... Да и Мёллер привез нам не только живые культуры дрозофилы, но и большое количество оттисков... Мы принялись за подробное, с полным критическим разбором реферирование основных из этих новых генетических работ, в связи с чем и кружок наш уже стал не просто Соором – совместным оранием, а Дрозсоором – совместным оранием о дрозофиле. И все это было, помимо всего, прекрасной школой усвоения и освоения научной литературы.

Наш кружок был, как я говорил, частный, неофициальный – и мы могли себя чувствовать совершенно свободно и свободно к каждому докладчику приставать с вопросами самого разнообразного характера.

А докладывающий должен был уметь отчитываться перед нами в любых вопросах, которые мы ему ставили.

Безусловно, очень большое значение имело при этом руководство Четвериковым этого нашего абсолютно свободного и демократического кружка: он как-то умел вовремя направлять все разговоры, принимавшие подчас совершенно неопределенные, неформленные и неупорядоченные направления, в нужное русло, вместе с тем не ограничивая ни докладчика, ни вопрошающих и оставляя полную свободу спора или трепа, но препятствуя вырождению этого в пустоপরজন্য болтовню.

Мне кажется, что все участники Дрозсоора на себе почувствовали большое значение этой дрозсооровской школы, которую мы тогда – в 21, 22, 23 годах – весьма основательно прошли.

Генетика была наукой в то время не только молодой, но и в сущности самой интересной и плодотворной. Буйный период ее развития как раз был, грубо говоря, с 13-го до

22–23-х годов. Значит, мы за этим следить не могли (не говоря уж о том, чтоб принимать участие). Нам пришлось все это в нашем Дрозсооре нагонять и как следует усваивать, пережевывать. И, конечно, очень правильно, очень хорошо получилось, что мы параллельно начали работу на этом замечательном, удобнейшем объекте для экспериментальных генетических работ – дрозофиле.

Сначала было нелегко... Мы все, включая и самих Четверикова и Серебровского, проделали на привезенных Мёллером культурах большой дрозофильно-генетической практик: своими руками провели все скрещивания нужные – и своими глазами убедились не только в менделизме (он нашему поколению послевоенному не был известен, да и большинству наших учителей был известен лишь по довоенным учебникам), но и в морганизме – в подходе новом к реальному освоению хромосомной теории наследственности.

Цитологи наши тогдашние, особенно Софья Леонидовна Фролова и Петр Иванович Живаго, помогали нам, заставляя нас самих проделывать цитологические исследования: красить хромосомы, считать их... Так что мы параллельно осваивали и материальные основы хромосомной теории.

Все это было очень существенным, очень важным этапом в нашем развитии – в развитии московской и отчасти ленинградской школы генетиков, потому что филиппченковская группа²⁴, несмотря на трудность переездов и личных коммуникаций, все-таки находилась в контакте с нами.

Так что можно сказать, что этот период имел огромное значение для развития всей советской генетики, которая тогда зарождалась. И очень хорошо получилось, что зарождалась она с самого начала на основе высшего уровня экспериментальной генетики, отчасти на кукурузе, но в основном на том материале дрозофильном, который привез Мёллер и который Мёллер нам лично показал, разъяснил, распропагандировал...

К 23-му году мы стали в результате такого самообучения грамотными по тогдашнему времени и достаточно передовыми генетиками. Нам это было нелегко переварить, потому как те же американцы уже формировали большие группы молодых специалистов – генетиков с самого начала, которые кончали университеты уже как генетики; мы же были

уже готовыми классическими биологами довоенного уровня. И в этом была трудность, но в этом была, может, и особая привлекательность работы нашего кружка и нашей группы в кольцовском институте. У нас, я бы сказал, с самого начала сформировалось более грамотное, более широкое и более биологическое отношение к генетике, чем у большинства басурман.

Мы увидели, что можно совершенно на новый манер оживить эволюционное учение. И в основном Четвериков да я, да Ромашов этим заинтересовались. Нам совершенно ясно почуялась возможность создания нового направления экспериментальной биологии – некоего синтеза экспериментальной генетики с классическим дарвинизмом.

Это было, пожалуй, самым внутренне теоретическим периодом жизни нашего кружка и нашей научной жизни: перестройка на новые рельсы, которых тогда и за границей не существовало... А нам, я думаю, это удалось.

Может создаться впечатление: ах, вот мы разом бросили свою старую профессию и с сегодня на завтра стали генетиками. На самом деле это происходило, конечно, не так. Ибо нас интересовала наука всерьез. (Между прочим, характерно, что многие из нас даже не кончили университета, не заботились вообще ни о каких бумажках, а работали и работали.) И мы не могли на то, во что вработались, во что влезли, просто плюнуть.

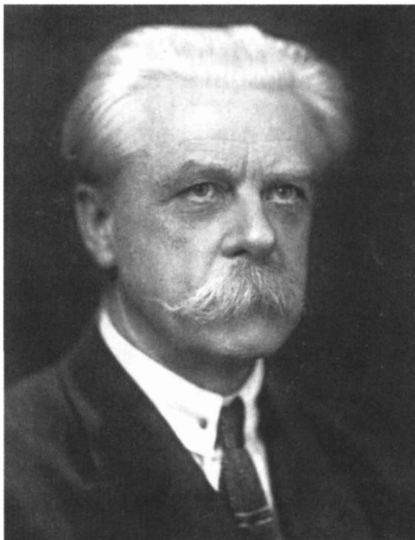
Переход нашей группы в основном из гидробиологии и энтомологии в экспериментальную генетику проходил естественно и помаленьку. Не бросая старое, мы занялись новым: начали разводить дрозофилу, ставить скрещивания, выдумывать свою новую тематику и проблематику генетическую.

Летом мы на Звенигородской станции занимались работами по изучению двух природных микроландшафтов в окрестностях: пытались поставить это здесь на генетическую почву.

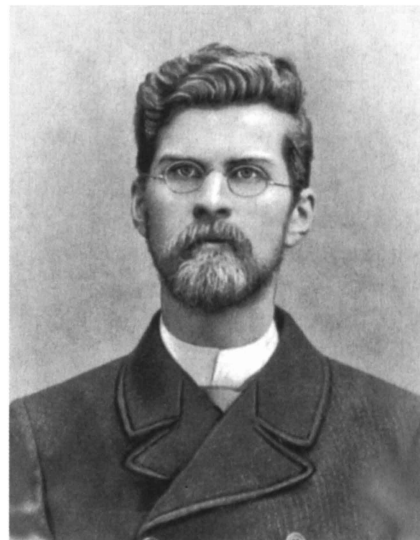
А параллельно в лаборатории, например, я и еще несколько человек (в особенности Астауров, Балкашина, попозже Рокицкий²⁵) занялись феногенетикой – подробным исследованием изменчивости в фенотипическом проявлении отдельных мутаций, то есть тем, как проявляются отдельные гены при воздействиях других генов, генотипов и различных условий внешней среды.



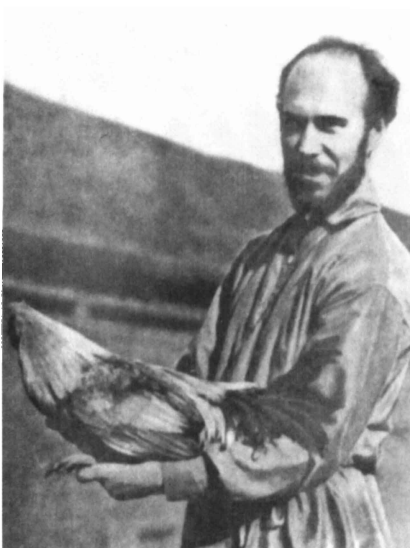
С.И. Огнев.



Н.К. Кольцов.



С.С. Четвериков.



А.С. Серебровский.



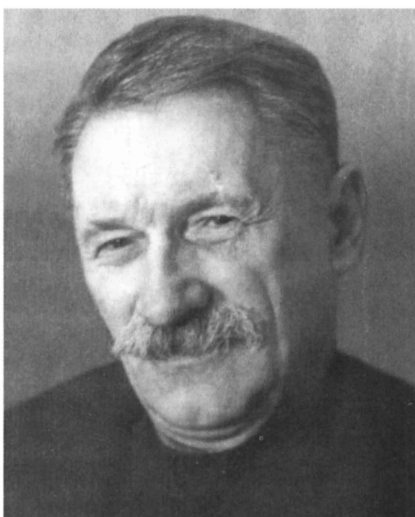
С.Л. Фролова.



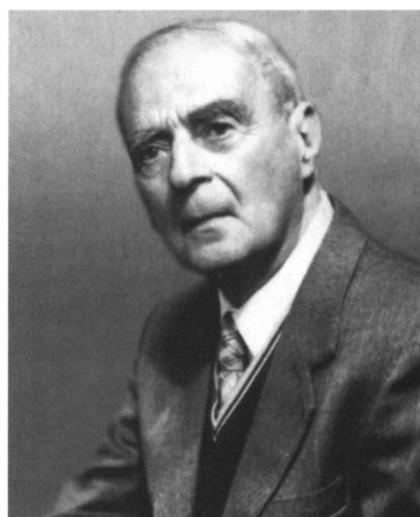
П.И. Живаго.



Н.К. Беляев.



Д.Д. Ромашов.



С.М. Гершензон.

Кое-кто занялся изучением мутационного процесса. И это было интересно еще потому, что, как я говорил, многие из нас стали думать о том, как можно видоизменить, оживить теорию эволюции.

Совершенно естественно, что в основе всякой эволюции лежит наследственная изменчивость, которую Дарвин считал направленной, случайной.

Мы по литературе и накапливающемуся собственному опыту помаленьку приходили к убеждению, что мутационный процесс... то есть изменения в геноме, передающиеся по наследству... происходит вовсе не так редко, как многим казалось: у каждого организма возникает все-таки довольно большое число мутаций. Однако насколько большое?

Мы тогда были почти уверены, что общее число любых мутаций равно паре процентов; сейчас мы знаем, что оно еще больше – порядка десяти процентов.

Но так как генов очень много, то каждая мутация в отдельности возникает очень редко: на десятки и сотни тысяч, даже на миллионы гамет – половых клеток – только в одной возникает определенная мутация определенного гена.

Однако для нас было уже совершенно очевидно, что вот эта генетическая мутабельность и есть та первичная основа, на которой протекает, только и может протекать эволюционный процесс.

Затем нам казалось очень важным как-то строже подойти к изучению первичных, исходных процессов эволюции.

Классический дарвинизм той поры занимался тем, что позже мы называли макроэволюцией, то есть крупными явлениями эволюционными – эволюционными процессами, обычно протекающими в течение длительного отрезка времени на больших пространствах среди надвидовых групп таксонов живых организмов.

Но ведь виды не могут рождаться из ничего. И то, что реально в каждый данный момент происходит в природе, происходит внутри их. Живут они в пределах своего ареала, и индивиды размножаются, ссорятся, мирятся, поедают друг друга... А во всей этой внутривидовой кутерьме происходит что-то такое, что ложится в основу большого процесса эволюции.

Значит, должна быть какая-то микроэволюция, ибо какие-то стартовые, исходные

механизмы ведут уже к большой эволюции...

Естественно, все это вместе вызывало интерес и к изучению природы генов. Что они собой представляют? Что в связи с этим представляют собой мутации?

Это направление оставило большой след в дальнейшей нашей работе.

В частности, через пару десятилетий моя группа специально занималась физико-химической природой мутаций и структурой генов.

У нас это оживлялось начатыми еще давно Кольцовым рассуждениями, основанными на его работах по физико-химической природе клеточных структур и внутриклеточных процессов. Так, уже в 12-м году он пришел к определенным воззрениям на природу генотипа, а в связи с этим, конечно, и на природу мутаций – изменений этих генотипов.

И сам Николай Константинович разрабатывал эти свои воззрения: первая его большая работа появилась в 28-м по-немецки, а в начале 30-х целый ряд его теоретических исследований о природе и строении хромосом и генов, о природе мутаций – в начавшем выходить «Журнале экспериментальной биологии», потом в «Биологическом журнале»...

Мы заинтересовались и генетическими основами промыслового дела.

С тех пор у меня не увядал интерес к тому, что сейчас именуется охраной природы, изучением среды.

Среды чего?.. Я всегда спрашиваю: «Которая между вторником и четвергом или какой-нибудь другой?»

Оказывается – среды обитания. Кого? Ну ладно – человека. Хотя вообще-то – живой природы, биосферы Земли.

Так появился интерес к биогеохимии, к Вернадскому²⁶...

Наш Дрозсоор был интересен, конечно, и тем, что все происходило в кольцовском институте, где, помимо самого Кольцова, была очень интересная группа передовых биологов старшего поколения кольцовских учеников: Фролова, Живаго, Серебровский, Завадовский²⁷, Скадовский... Это были крупные люди, стоявшие над нами, – они (кроме Четверикова) не были постоянными участниками нашего кружка, но кружок наш и в их среде развивался, что играло очень большую роль.

Дрозсоор с моим участием продолжался до 25-го года. И с 26-го – меня уже не было –

он, к сожалению, разросся. И все кончилось в 28-м.

Разогнали наш Дрозсоор.

Сергея Сергеевича Четверикова отправили в ссылку в Свердловск (там он несколько лет заведовал паршивеньким маленьким каким-то краеведческим музейчиком), откуда-то разрешили переехать сперва во Владимир и уж потом в Горький – профессором в Горьковский университет...

Наш Дрозсоор был уникальным явлением в Отечестве нашем. И мне в этом отношении повезло.

Примечания

¹Известного предпринимателя Морозова звали Саввой Тимофеевичем, но в то же время жил не менее известный меценат Савва Иванович Мамонтов.

²В отличие от предметных внеклассных кружков, создававшихся преподавателями Флёровской гимназии для своих учеников, «Сикамбр», возникший в 1918 г., был межгимназическим объединением. В нем участвовали юноши и девушки из разных учебных заведений, интересовавшиеся широким кругом гуманитарных проблем. Название кружка произошло от любимого слова Сатина, персонажа популярной тогда мхатовской постановки пьесы Горького «На дне». Так называлось одно из варварских германских племен, в контексте пьесы оно означало «дикий», «непросвещенный». В устах же студийцев это название принимало характерный для тех лет эпатажный оттенок.

³Густав Густавович Шпет (1879–1937) – философ, логик, переводчик. С 1910 г. преподавал в Московском университете, в Университете Шаньянского, на Высших женских курсах и в Алфёровской гимназии. Исследователь феноменологии немецкого философа Э. Гуссерля. В 1935 г. был репрессирован, через два года расстрелян.

⁴Николай Николаевич Лузин (1883–1950) – математик, академик (с 1929). Основатель научной школы, в шутку именованной «Лузитанией». С 1914 г. приват-доцент Московского университета и преподаватель Флёровской гимназии. На те же годы (1914–1924) приходится время его наибольшего влияния на учащуюся молодежь.

⁵Дмитрий Дмитриевич Ромашов (1899–1963) – генетик. До 1942 г. работал в Институте экспериментальной биологии, затем в других институтах. Занимался популяционной генетикой.

⁶Елизавета Ивановна Балкашина (1899–1981) – зоолог, энтомолог, генетик. Коллега Н.В. по кольцовско-четвериковской группе «Дрозсоор», по биостанциям в Звенигороде и Аниково. Первооткрыватель одной из мутаций (aristopedia), регулирующей развитие органов дрозофилы. Основное направление научных исследований – популяционная генетика. После ссылки в 1935 г. в казахстанские степи осталась жить в Усть-Каменогорске.

⁷Николай Константинович Беляев (1899–1937) – ге-

нетик. Окончил Московский университет в 1925 г. Работал в Институте экспериментальной биологии (1928–1929) и других институтах. Занимался исследованием гетерозиготности популяций дрозофилы, физиологическими механизмами онтогенеза, генетикой тутового шелкопряда. Был репрессирован и в 1937 г. расстрелян.

⁸Дмитрий Владимирович Обручев (1900–1970) – палеонтолог. Основные работы посвящены эволюции древнейших позвоночных животных. Почетный член Нью-Йоркской АН и Лондонского Линнеевского общества.

⁹Борис Львович Астауров (1904–1974) – биолог, ученик Н.К. Кольцова. Окончил Московский университет в 1927 г. До 1930 г. работал в Институте экспериментальной биологии. С 1967 г. – директор Института биологии развития АН СССР. Президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова (1966–1972), академик (с 1966). Разрабатывал теоретические и практические вопросы развития и наследственности тутового шелкопряда.

¹⁰Елена Александровна Тимофеева-Ресовская (урожденная Фидлер, 1898–1973) – жена Н.В. с 1922 г.

¹¹Сергей Михайлович Гершензон (1906–1998) – генетик, академик АН Украины (с 1976). Окончил Московский университет в 1927 г. Труды по генетике и молекулярной биологии. Открытие им (1939) мутагенного действия экзогенных ДНК было одним из первых экспериментальных свидетельств значения ДНК в генетических процессах. Автор фундаментального учебника «Основы современной генетики» (1979), неоднократно переиздававшегося.

¹²Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк и литературовед. Жил в особнячке, построенном в 1912 г. по проекту И.А. Иванова-Шица (снесен в 70-е гг.), который стоял в глубине сада возле дома № 13 по Никольскому переулку.

¹³В том же доме № 13 находилась квартира приятельницы Н.В. по «Сикамбру» Маргариты Гавриловны Шемшуринной (1899–1970), ставшей в 1924 г. женой Георгия (Юрия, Егора) Георгиевича Залогина (1900–1976), друга Н.В. по Флёровской гимназии и кружкам.

¹⁴Иванов Вяч. И., Гершензон М.О. Переписка из двух углов. Пг., 1921. В основе книги – письменные послания, которыми обменивались Михаил Осипович Гершензон и поэт Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949), пребывая в 1920 г. в одной комнате московской здравницы для работников науки и литературы в 3-м Неопалимовском переулке, д. 5.

¹⁵Георгий Георгиевич Винберг (1905–1987) – гидробиолог и лимнолог, член-корр. АН СССР. Окончил Московский университет в 1927 г. Труды по проблемам продуктивности экологических систем. Создал новое направление в гидробиологии и школу гидробиологов эколого-физиологического направления.

¹⁶Лев Семенович Берг (1876–1950) – физико-географ и биолог, академик, президент Географического общества СССР (с 1940). Разработал учение о ландшафтах, первым осуществил зональное физико-географическое районирование СССР. Труды по ихтиологии, климатологии, озероведению, истории географии. В 1922 г. выдвинул эволюционную концепцию номогенеза.

¹⁷*Лидия Петровна Бреславец* (1882–1967) – цитолог и цитогенетик, преподавала в Московском университете, заведовала лабораторией цитологии ВАСХНИЛ (1931–1938). Изучала строение растительных клеток, влияние физико-химических факторов на растения, полиплоидию.

¹⁸Американский генетик *Герман Джозеф Мёллер* (1890–1967) – ученик и сотрудник Т. Моргана, впервые приехал в СССР ненадолго в 1922 г. В 1932 г. он получил стипендию фонда Гуггенхайма и год работал в Германии в Институте по изучению мозга имени кайзера Вильгельма в отделе Н.В. Затем принял приглашение Н.И. Вавилова и несколько лет работал в Ленинграде и Москве. Основное направление исследований – генетика, в частности – мутагенез, генетический анализ, теория гена и др. В 1946 г. получил Нобелевскую премию «за открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения».

¹⁹*Томас Хант Морган* (1866–1945) – американский биолог и генетик, один из основоположников современной генетики. Профессор Колумбийского университета, директор биологической лаборатории Калифорнийского технологического института в Пасадене, президент Национальной АН США (1927–1931), иностранный почетный член АН СССР, член Лондонского королевского общества. Основные научные работы посвящены хромосомной теории наследственности. Совместно с Г.Дж. Мёллером, А.Г. Стёртевантом и К. Бриджесом обосновал представление о материальных носителях наследственности, что привело к созданию хромосомной теории наследственности. Установил закономерности сцепления генов и кроссинговера, в результате чего был выяснен цитологический механизм менделевских законов. Это открытие послужило стимулом для разработки генетических основ теории естественного отбора. Нобелевская премия по физиологии и медицине 1933 г.

²⁰*Альфред Генри Стёртевант* (1891–1970) – американский зоолог и генетик, профессор Калифорнийского технологического института в Пасадене. Член Национальной АН США. Основное направление исследований – хромосомная теория наследственности. Первым обосновал теорию линейного расположения генов в хромосомах, предложил метод картирования генов в хромосомах, составил (1913) первую карту X-хромосомы дрозофилы. Открыл явление супрессии и «эффект положения гена». Кимберовская премия по генетике 1957 г.

²¹*Кэлвин Бриджес* (1889–1938) – американский биолог и генетик. Работал в Колумбийском университете и в Институте Карнеги, член Национальной АН США. Основные научные исследования посвящены хромосомной теории наследственности. Сформулировал теорию генетического баланса, с которой связано определение пола животных, установил (1916) группы сцепления у дрозофилы и связь этих групп с определенными хромосомами.

²²*Александр Сергеевич Серебровский* (1892–1948) – биолог, один из основоположников отечественной генетики, чл.-корр. АН СССР (с 1933), академик ВАСХНИЛ (с 1935). Основное направление научных исследований – общая генетика и генетика животных.

Сформулировал и экспериментально подтвердил идею о делимости гена. Предложил схему линейного строения гена и метод определения его размеров, а также новое направление в эволюционном учении – геногеографию. Работы по теории селекции. Организатор и первый заведующий кафедрой генетики Московского университета (с 1930). Создал крупную школу отечественных генетиков.

²³*Николай Иванович Вавилов* (1887–1943) – ботаник, генетик и селекционер, академик АН СССР и Украины, ВАСХНИЛ, президент ВАСХНИЛ (1929–1935). Директор Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур и Генетической лаборатории, преобразованной затем в Институт генетики. Президент Всесоюзного географического общества, член Лондонского королевского общества и многих других академий наук. Труды по генетике, селекции и формообразованию растений. Возглавлял и направлял работы по реорганизации сельского хозяйства в стране. Автор учения об иммунитете растений (1919), закона гомологических рядов в наследственной изменчивости (1920), принципов селекции растений (1934). Создал школу растениеводов-генетиков и селекционеров. В 1940 г. арестован, приговорен к расстрелу, умер в Саратовской тюрьме.

²⁴*Юрий Александрович Филипченко* (1882–1930) – генетик, профессор Петербургского университета. Занимался теоретической генетикой, генетикой животных и растений, евгеникой. Первым начал читать (1913) курс генетики в университетах России. Создал первую в России кафедру генетики и экспериментальной зоологии (1919) в Петроградском университете и первую в стране лабораторию генетики, преобразованную в 1933 г. в Институт генетики АН СССР.

²⁵*Петр Фомич Рокицкий* (1903–1977) – биолог, генетик, академик АН БССР. Окончил Московский университет в 1927 г. Основное направление – генетика и генетические основы селекции животных. Сформулировал и экспериментально обосновал понятие о поле действия гена. Первым в стране начал исследования по радиационной генетике млекопитающих.

²⁶*Вадимир Иванович Вернадский* (1863–1945) – минералог, кристаллограф, геохимик, биогеохимик, радиолог. Академик (с 1912), первый президент АН Украины (с 1919). Организатор и директор Радиевого института, Биогеохимической лаборатории (ныне Институт геохимии и аналитической химии РАН им. В.И. Вернадского). Основоположник комплекса современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогенологии, гидрогеологии и др. Создатель многочисленных научных школ. В центре его естественнонаучных и философских интересов – разработка целостного учения о биосфере, о живом веществе (организующем земную оболочку) и эволюции биосферы в ноосферу. Член многих академий наук и научных обществ.

²⁷*Михаил Михайлович Завадовский* (1891–1957) – эмбриолог, академик ВАСХНИЛ, профессор, заведующий кафедрой и лабораторией динамики развития (1930–1948) Московского университета. Основные научные работы посвящены биологии индивидуального развития и физиологии животных.